



ПОКА ГОРЯТ ОГНИ

Катя Ланская

16+

Катя Ланская

Пока горят огни

«Автор»

2026

Ланская К.

Пока горят огни / К. Ланская — «Автор», 2026

Она считает счастливые дни, зажигая огни в стеклянных склянках. Он вернулся с северного порта чужим и злым — и узнал, что у их любви остался один разлив. По легенде, тысяча огней приводит домой того, кого ждёшь.

© Ланская К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО	8
Глава 1. Мальчик, который не верил в огонь	8
Глава 2. Сундук, который нельзя трогать	10
Глава 3. Как взрослые говорят «всё будет хорошо»	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Катя Ланская

Пока горят огни

Свет не копят. Его зажигают.

ПРОЛОГ

Костя

Вода поднялась за ночь. Луга за огородом стали рекой. Старые мостки, к которым отец каждое лето вязал лодку, оказались посреди воды — будто их строили не для берега, а для неба.

Я шёл к ним по колено в холоде. Нёс плёд и термос. Боялся одного: что она замёрзла, пока я спал.

Она сидела на краю мостков, над разливом. В отцовской куртке не по росту. Маленькая. На коленях у неё стоял сундук — окованный по углам, с бакеном, выжженным на боку. Я знал этот сундук всю жизнь.

— Ты должна была меня разбудить, — сказал я и сел рядом. Накрыл нас обоих пледом.

— Ты хорошо спал. — Она не повернула головы. — Пусть тебе приснится что-нибудь на вырост.

В пальцах у неё поворачивалась склянка. Маленькая, аптечная. Внутри — огарок и свёрнутая бумажка. Она делала так тысячу раз. Я тысячу раз смотрел и не мог оторваться.

За домами простучала первая электричка. Пахло талой водой, корой, дымом чьей-то печки. И рекой — той горечью большой воды, когда она несёт с верховьев всё, что копила под снегом.

Я налил ей чаю. Сладкого, три ложки, как она любит. Она взяла кружку обеими руками и грела о неё пальцы.

— Какой это у нас огонь? — спросила она. — Если с самого первого считать.

— Не знаю, — соврал я. Я знал.

— Тысячный, Морзе. — В голосе улыбка, хоть лица не видно. — Кто-то же должен в этой семье вести учёт.

«В этой семье». Она сказала это между двумя глотками. Легко. У меня в груди стало тесно.

— Замёрзла?

— Нет. — Помолчала. — Со мной сегодня всё правильно. Не «хорошо». Правильно. Запомни это утро. Не пиши на плёнку. Просто запомни.

— Где запомнить?

— Где у тебя лежу я.

Она сняла с моей руки ручку. Дописала на бумажке несколько слов. Заслонила плечом.

— Что там?

— Желание. — Подула на чернила. — Чужое желание подсматривать нечестно. Даже тебе.

Свернула. Вложила к огарку. Чиркнула спичкой — та обломилась. Чиркнула ещё раз. Огонь встал в стекле ровно, без ветра.

— Всё, — сказала она.

— Что — всё?

— Я дошла до тысячи.

Небо за её спиной наливалось розовым — снизу вверх, как вода, если капнуть акварели. Свет шёл над разливом низко. Собирался у неё в волосах, на ресницах. Она повернулась ко мне и улыбнулась так, как я больше ни у кого не видел.

— Поцелуй меня. Пока не взошло.

Я поцеловал. Губы у неё были тёплые. Пахли талой водой и дымом.

Она поставила склянку на дощечку — маленький плот, отец выстругал ей его в детстве, — и толкнула по воде. Огонь поплыл к середине разлива, к восходу. Не гас.

— День засчитан, — прошептала она и положила голову мне на плечо. — Огонь зажжён.

Лепесток вербы оторвался от ветки, покружился и лёг на крышку сундука. Белое на тёмном.

Я сидел и был счастлив. Я ещё не знал, как называется то, что наступает после «всё».

К полудню вода начнёт спадать. Сразу, вся, за один день, — чего не бывает. Но это будет к полудню. А пока солнце вставало, и её огонь плыл к нему по чёрной воде, и я держал её на плече и молчал.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО

Глава 1. Мальчик, который не верил в огонь

Варя

Мне было семь лет, и я знала про мир три главные вещи: самая сладкая рыба ловится на зорьке, бабушку Фросю нельзя обыграть в дурака, а огни на реке нужно караулить — иначе они погаснут без тебя, и день будет считаться не полностью.

Про огни рассказала бабушка. Она вообще рассказывала всё главное не в лоб, а через плечо — помешивая варенье, снимая розовую пенку и отдавая мне на блюде. «Свет, Варька, не копят. Его зажигают. Твоя забота — оказаться рядом со спичкой, когда стемнеет».

Я понимала буквально. Вставала затемно, вылезала в окно — через дверь неинтересно и скрипит, — и шла к реке смотреть, как гаснут дедовы бакены. К рассвету они как раз догорали: всю ночь вели по фарватеру плоты и баржи, а на свету становились не нужны.

Река у нас была большая и серьёзная. С затоном, где зимовали баржи. С быстринной посередине, куда мне не велели и куда я, конечно, совалась. По вечерам на воде загорались огни — красный на одной кромке фарватера, белый на другой. Их зажигал бакенщик дядя Гриша, но я считала, что дед подсказывает ему снизу, из-под воды, где какой ставить. Дядя Гриша иногда ошибался. Дед — никогда.

Городок наш назывался Затонье и был весь — берег. Куда ни пойдешь, упрёшься в воду. Наш дом стоял с краю, крайний к реке, и из моего окна была видна вся вода. А напротив, через дорогу, целый год пустовал другой дом — с заколоченными окнами и бурьяном во дворе выше меня. Мы с Галкой считали его заколдованным и обходили бегом.

В то утро — начало июля, вода уже вошла в берега, стояла тёплая и ленивая — я сидела на мостках и ждала, когда над затоном погаснет последний огонь. В конце улицы зарычал грузовик.

К пустому дому задом подъезжала машина с надписью «Мебельторг». Из кабины вылезли двое взрослых, а следом, из легковушки, — мальчишка. Тёмный, худой, в куртке не по погоде. Он встал посреди нашего бурьяна и стал смотреть на реку. Но не как смотрят на красоту. А будто река ему что-то должна и не отдаёт.

Я слезла с мостков и пошла к забору, к той жердине, что пониже. Новые люди у нас случались реже звездопада.

— Ты кто? — спросила я, усевшись верхом на жердину.

— Никто, — сказал он, не поворачиваясь. — Мы тут ненадолго.

— У нас все так говорят. А потом на тебе — тридцать лет живут. Дядя Гриша тоже приехал «на сезон». Сорок лет назад.

Он не ответил.

— А чего ты на реку злишься? Она тебе что сделала?

Он повернулся. Медленно. Глаза тёмные, тяжёлые, будто одолженные у кого-то большого и усталого.

— Я не злюсь.

— Злишься. У тебя лоб такой.

— Какой?

— Как у нашего кота Бушуя, когда собирается дождь.

Я спрыгнула к нему во двор — забор для меня был не преграда, а приглашение.

— Пойдём, покажу, где рыба стоит под мостками. Только тихо, она пугливая. Тебя как звать-то, никто?

Он помолчал, будто решая, стоит ли называться человеку, который «ненадолго».

— Костя.

— А меня Варя.

Я потащила его за рукав. Он упирался всем видом, но ногами шёл.

Мы сели на тёплые доски. Солнце ещё не встало, но по воде уже шла чешуйчатая рябь. Я показала пальцем, где под мостками стоят тёмные рыбы спины — против течения, ровным строем. Он смотрел долго. Лоб у него разглаживался.

— Красиво тут, — сказал он наконец. Через силу.

— А чего сердитый, если красиво?

Он пожал плечами.

— Отца всё время переводят. По реке мотает — то на дальний участок, то обратно. Я не успеваю ни к кому привыкнуть.

— А ты привыкни ко мне. Я тут всегда буду. Я никуда не перевожусь.

Он посмотрел искоса — как смотрят на конфету, которую вот-вот отнимут. Потом достал из кармана что-то плоское, железное, и постучал по перилам: тук-тук, тук, тук-тук.

— Это что?

— Морзянка. Азбука, звуками. Дед научил, он радист. Он говорит: словами люди врут, а морзянкой нет. В ней лишнего не настучишь, руку жалко.

— И что за буква?

Он смутился и спрятал железку в кулак.

— Никакая. Просто стучу.

Я не поверила. Но выпытывать не стала — я умела ждать.

Взошло солнце. Река загорелась вся сразу, от берега до берега. Последний бакен на быстрине мигнул и погас.

— Погас, — сказала я. — Значит, дошёл кто-то. Дед говорит: огонь горит, пока кому-то надо дойти в темноте. А дошёл — можно гасить.

Костя молчал. Но лоб у него был совсем гладкий, и кот в нём задремал на солнце.

Через неделю мы жгли на берегу костёр, и растопка отсырела, и мальчишки постарше смеялись, что девчонки огня развести не могут. Я извела полкоробка, дула, подкладывала бересту — и занялось. Костя сказал из темноты, снизу, глядя в огонь:

— Ну ты и Искра.

Так и приклеилось. Искра и Морзе. Про то, что «ненадолго», он больше не заговаривал. А я не давала повода.

Глава 2. Сундук, который нельзя трогать

Варя

У бабушки Фроси было два запрета: не лазить в подпол за компотом без спросу и не трогать сундук.

Компот мы уговорили за первое лето — забрались вдвоём в холодный подпол и пили вишнёвый прямо через край, по очереди. Бабушка застукала нас с лиловыми языками и махнула рукой: пейте, воры. А сундук держался годами. Он стоял на шкафу в горнице — окованный, тяжёлый, с бакеном, выжженным на боку. В нём лежало что-то, из-за чего бабушка среди дня вдруг садилась к окну и подолгу ничего не делала, только смотрела на реку. Лицо у неё в такие минуты делалось молодым.

— Баб, что там?

— Дни, — говорила она, не оборачиваясь. — Хорошие. Вырастешь — отдам.

Костя приходил к нам каждый день, а то и ночевать. У них дома было тихо и холодно, как в комнате, где не живут, а пережидают: мать всё что-то перекладывала, будто завтра снова в дорогу. У нас было шумно. Бабушка пела за работой, гремела заслонкой, звала обедать по три раза. Костя ел так, будто боялся, что отнимут: пригнув голову, быстро. Бабушка подкладывала ему без слов — то блин, то кусок пирога — и отходила, чтоб не смущать. Она читала человека, как дядя Гриша читал воду: по мелкой ряби видела, где глубоко.

Однажды в грозу, когда взрослых не было, а гром бил так, что дребезжали стёкла, мы придвинули к шкафу стул и сняли сундук. Он был тяжелее, чем я думала. Мы сели по-турецки на пол, и я откинула крышку.

Внутри было тесно от стекла. Склянки, пузырьки, чернильницы-непроливайки — сотни, крышка к крышке. В каждой огарок и свёрнутая бумажка. Стекло у большинства мутное, закопчённое изнутри.

— Это свечки? — прошептал Костя.

Я поднесла одну склянку к синему грозовому окну. Сквозь стекло просвечивала бумажка. Бабушкин круглый почерк: «День, когда Захар вернулся с полой воды живой и принёс мне первую щуку в две руки. Огонь №74».

Мы забыли про грозу. Разворачивали чужие прожитые дни, и они оживали в руках. «Огонь №120. Захар починил крыльцо и ни разу не ругнулся». «Огонь №201. Родилась Тамара, кричит громко». Тамара — моя мама.

— Сколько их тут? — спросил Костя. Он цеплялся за числа.

Мы стали считать, сбились, начали снова. Насчитали девятьсот девяносто девять.

— Почему не тысяча? — Он даже расстроился. — Одного не хватает.

За спиной скрипнула дверь. Гроза уходила. Бабушка стояла на пороге, в мокром платке, и смотрела не на нас — на рассыпанные по полу огни.

— Ну, — сказала она. — Раз достали.

Она села рядом, тяжело, держась за поясницу, и взяла ту склянку, где про щуку.

— Это наши с дедом. Мы начали складывать, как поженились. Уговор был: выдастся счастливый день — вечером зажигаем огонёк, а внутрь пишем, за что. Одной строчкой. Чтob не забыть. Счастье, детки, короткое и беспамятное. Пока горит — кажется, всегда так будет. Погаснет — и через год не вспомнишь, был ли тот день.

— А почему девятьсот девяносто девять? — не отставал Костя.

Бабушка помолчала. За окном капало ровно, устало.

— Была примета. Старая, бакенщицкая. Будто тысяча огней приводит домой того, кого ждёшь. Мы с дедом хотели дойти до тысячи. Дошли до девятьсот девяносто девяти. Тысячный не зажгли.

— Почему?

— Потому что на тысячном он не вернулся.

Она рассказала коротко. Дед был бакенщик, а смолоду ходил с изыскателями, радистом. Весной, в ледоход, чужая баржа села на мель у нижнего переката, и лёд шёл на неё стеной. На барже — люди. Дед поехал снимать. Снял всех, четверых, в три ходки. На обратной, пустой, его накрыло льдиной. Нашли летом, у той же косы, где он поймал ей щуку.

— В тот вечер я огонь не зажгла, — сказала бабушка, собирая склянки обратно, крышка к крышке, год к году. — Не за что было. Так и осталось девятьсот девяносто девять. А тысячный... — Она защёлкнула крышку. — Тысячный не про круглое число. Тысячный зажигают в самый счастливый день. Когда уж некуда счастливее. Я такого дня с тех пор не нашла.

Мы водрузили сундук обратно на шкаф.

— Вырастешь — отдам, — сказала мне бабушка, отряхивая колени. — Матери он ни к чему, у неё душа хозяйственная, она бы всё запасала на потом. А ты искра.

Костя всю дорогу до своей калитки молчал. Дождь кончился, мы шлёпали по тёплым лужам, в которых отражалось умытое небо. У калитки он остановился и сказал, глядя на реку:

— Я бы дошёл до тысячи. Я упрямый.

Я ничего не ответила. И так было ясно, что дошёл бы. Он же Морзе — стучит, пока не достучится.

Глава 3. Как взрослые говорят «всё будет хорошо»

Варя

Бабушка Фрося умерла зимой, когда мне было восемь.

Сердце. У нас в семье у всех сердце — тонкое, как первый лёд на затоне: с виду держит, а наступишь всем весом — и вода. Тогда я этого про себя ещё не знала. Знала только, что бабушка стала часто садиться посреди дела и держаться за грудь слева. И что мама вполголоса говорила по телефону слово «стационар», от которого пахло хлоркой.

Её увезли в феврале, в самую глухую пору, когда река стоит подо льдом и кажется, что тепла больше не будет. «Скорая» долго не могла подъехать — перемело, — и мужики расчищали ей путь лопатами при свете фар. Я стояла у окна и смотрела, как бабушку выносят на носилках. Она приподняла руку — мне, в окно. Я не знала, махать в ответ или это плохая примета, — и не махнула. Потом жалела всю жизнь.

Меня к ней не пускали.

— Ей нужен покой, Варечка, — говорила мама. — Всё будет хорошо.

У человека, когда он говорит правду, лицо живое, движется. А когда говорит «всё будет хорошо», зная, что не будет, — лицо делается слишком спокойным. Гладким. Рот улыбается, а глаза где-то в коридоре с запахом хлорки. Я это увидела впервые тогда — и научилась узнавать.

Один раз меня всё-таки пустили. Длинный коридор, синяя масляная краска до половины стены, лампы, от которых лица зелёные. Бабушка лежала у окна, маленькая, будто ставшая ниже ростом. Рука поверх одеяла — лёгкая, как пустая варежка. Но глаза остались её.

— Варька. Иди ближе. Некогда мне тебя долго учить, запоминай сразу.

Я взяла её лёгкую руку. Мама вышла — поплакать в коридор.

— Сундук — твой. Матери отдам через неё, она знает. Ты складывай дальше. Свои огни. И дойди до тысячи. Тысячный — в самый счастливый день. Не раньше. Не трать на ерунду.

— Баб, ты вернёшься и сама дойдёшь. Ты же не нашла ещё свой самый счастливый.

Она улыбнулась и на секунду стала прежней.

— Хитрая. В меня. Мой тысячный остался на реке. Тебе — свой искать. И вот что запомни, ради этого и звала. — Она сжала мою руку, силы было чуть. — Тьма — не зло. Люди её боятся, думают, в ней страшное живёт. А тьма — это просто место, где ещё не зажгли. Ты не бойся тёмного. Ты в него со спичкой входи.

Это были последние её слова, которые я поняла. Дальше она говорила тише, уже не мне, — и я не разобрала.

Она умерла через три дня, на рассвете. Мама вернулась под утро — я не спала, ждала у окна, — и по лицу я поняла всё раньше слов. Только теперь лицо было не гладкое, а разбитое. Мама села на пол у порога, прямо в пальто и снегу, и сложилась пополам.

Я не заплакала при ней. Я подошла и стала гладить её по холодному платку, как большая.

А после, когда мама уснула, я оделась и вылезла в окно. Пошла на лёд затона, где стояли вмёрзшие баржи, где было совсем черно. Там, где темнее всего, я долго стучала пяткой валенка — тук-тук, тук, тук-тук, — хоть не знала ни одной буквы. Стучала вниз, под лёд, деду. Чтоб знал: идёт к нему бабушка. Встречай. Зажги ей огонь на том берегу.

Лёд подо мной был толстый, зимний. Держал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.